



Ю. Н. ПОТЕХИН

Физика и метафизика Русской революции

<Фрагменты>

Да и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!
Россия! Нищая Россия!..¹

*А. Блок*²

Трудно любить сегодняшнюю Россию в голоде, крови, грязи и болезнях. Но слишком легко было любить ее вчера, когда в ней была самая белая в мире крупчатка, самый сладкий и белый сахар, самая чистая, крепкая и пьяная в мире водка. Слишком легко для тех, у кого всего этого было вволю. Так в этой нищей России привычно сытно, сладко и пьяно жилось, что, когда вдруг исчезла мука, сахар и водка, показалось, что и сама Россия исчезла. Многим и до сих пор кажется.

Но... «полюбите нас черненькими...» — полюбите Россию красную, другой ведь и нет сейчас.

Трудно, не многие могут; могут Блок, Горький³, А. Белый⁴ из литераторов, Шаляпин⁵ из артистов, Ольденбург⁶ из ученых и, кажется, никто из политиков-профессионалов.

Кровь липким туманом застилает глаза, ненависть давит на сознание, ненависть за невинно пролитую кровь, и на уста так легко просится: «Проклятье вам, большевики! Проклятье породившей большевизм революции, проклятье самой стихии революционной народу».

<...>

Все в истории последних лет можно, при желании, объяснить случайными и устранимыми причинами. Романовы погибли потому, что не сделали своевременно премьером кн. Львова⁷. Львов уступил место Керенскому, так как не дал Корнилову⁸ разогнать Петроградский совдеп; Керенский пал, ибо не решился арестовать Ленина и Троцкого; Колчак поплатился за насилие над эсеровской директорией⁹. Деникин взял бы Москву, если бы сразу отдал крестья-

нам всю землю. Бесплодно и не нужно искать мелких и ничтожных причин для объяснения крупнейших исторических событий.

Нет ничего случайного в неумолимом развитии русской революции.

Постигнуть смысл великой катастрофы не под силу нам, современникам, — слишком оглушителен рев красной метелицы, гуляющей по русским просторам; слишком памятен свист пуль, вырвавших из жизни самых дорогих, самых лучших; слишком ясно слышны стоны близких, умирающих от голода, тифа и холеры.

Но самая их гибель обязывает не к ненависти и мщению, а к попытке понять, за что они погибли, куда ведет усыпанный их могильными крестами путь.

Попытаться, без гнева и злобы, разобраться в этом — значит понять, что, потеряв родных, мы еще не потеряли родины.

Ибо, подлинно, светлого Христа видел под знаменем Русской Революции А. Блок. Не Христос, а Антихрист, совсем похожий, но отличающийся всего одной буквой; так думает разрешить видение Блока С. Булгаков¹⁰ в своих диалогах «На пиру Богов»¹¹.

В этой, во многом замечательной книжке, написанной в первый год большевизма, есть мысли неожиданные, глубокие и верные. «Аминь», которым дружно заканчивают свои диалоги все шесть собеседников, свидетельствует, что и сам Булгаков верит нерушимо в русский народ и Христа, пребывающего с этим народом вовеки; а значит, и в кровавом разливе революции, и в хулиганском кощунстве внешнего безбожия.

Прошло три года, как написана эта книжка, и потому ли, что Деникин не отдал «всю землю всему народу», или потому, что Колчак неуважительно обошелся с Уфимской Директорией¹², но только все собеседники диалогов очутились за рубежом родины... генерал, светский богослов, писатель, дипломат, общественный деятель и беженец, очутившись за границей, растеряли многое из своей былой веры в народ. Эта потеря веры — самое страшное из бесчисленных бедствий эмиграции.

На берегах Босфора, в гостеприимных славянских странах, в шикарных залах отеля «Мажестик»¹³ в Париже русские смакуют вести о холере и голоде в России, обсасывают сладострастно миллионные цифры гибнущих и к ужасным фактам любовно добавляют еще более ужасный вымысел. То серьезная газета сообщит, что в Москве на кладбищах вырывают и крадут трупы и «установлено», что ими откармливают свиней; то почтенный профессор высчитает, что через 17 лет во всей России останется в живых всего несколько сот тысяч человек... Жутко за опустошенные души!

«Интеллигенция погубит Россию», — предупреждали «Вехи» двенадцать лет назад. Интеллигенция губит Россию — почти можно уже сказать теперь.

Но не своей избыточной революционностью, как казалось тогда, а, наоборот, своей неспособностью принять великую русскую революцию в ее единственно возможных народных формах.

Пора принять на себя ответственность в этом, пора сознаться, что в голоде 1921-го, 1922-го и будущих годов есть значительная доля и нашей вины.

Саботаж, а затем сотрудничество чисто пайковое; работа, насквозь проникнутая психологией лени и распущенности, как бы освящаемых высшим принципом борьбы с ненавистной властью, во многом являются причиной того рокового для России обстоятельства, что в течение долгих месяцев советская власть оставалась кучкой фанатиков, окруженных кучей мерзавцев.

<...>

Что же произошло? Подмена ли чаемого и призываемого цветения любви «мировым пожаром в крови»? Или вся народолюбивая русская интеллигенция не поняла, что еще пятнадцать лет назад маковым цветом горячей крови зацвела не любовь, а злоба, отчаяние и ненависть? Кажется, так! Кажется, и сейчас еще не понимает.

Надо ничего не понимать в русской революции, чтобы март противопоставить октябрю, побившему морозом нежные всходы мартовской любви, исказившему чистый лик бескровной политической революции. Мне кажется, что в 17-м году в России вовсе не было политической революции. То, что принято считать ею — конец февраля и первые дни марта, — были скоростижной смертью монархии, давно хворавшей гнилостным заражением крови и скончавшейся от испуга при виде голодной вспышки. Непроснувшаяся народная воля убила самодержавие, а смерть самодержавия разбудила народную волю. Только в октябре народ сознательно (конечно, соответственно уровню сознания) воплотил свою волю. Брестский мир и Ленин, в сущности, являются единственными подлинными завоеваниями революции.

<...>

Когда волной народной ненависти выплеснуло за границу остатки служилой бюрократии, поместного сословия и буржуазии, вместе с ними оказалась и весьма значительная часть интеллигенции в чистом смысле этого слова. Общность беженства, общность предшествовавших ему переживаний наложили на эту часть интеллигенции тяжкую, но, конечно, временную и поверхностную печать духовного отчуждения от родины, заразили ее психологией чисто буржуазной.

Притом психологией буржуазии специфически русской — жадной, но ленивой, не привыкшей к самостоятельности и трусливой. Все отдавшей и бежавшей при опасности; мечтающей вернуться, чтобы все потребовать обратно, когда опасность минует.

«Когда большевиков не будет, — высчитывает промышленник и определенно заявляет: — мы должны быть на фабриках полными хозяевами».

«Когда большевиков не будет...», неопределенно мечтает интеллигент... и дальше в мечтах провал, пустота. И за радужными мечтами о падении ненавистной власти умственному взору интеллигента рисуется не фабрика, на которой можно быть полным хозяином, а все более часто вырастает грандиозный призрак всеобъемлющей анархии, окончательного распада всех социальных связей, с таким огромным трудом как будто начинающих вновь возникать в России.

Русский интеллигент, всю свою историю отвращавшийся от буржуазности, звание мещанина почитавший сильнейшим оскорблением, вдруг во времена революции не на шутку ощутил себя «буржуем» и бросился опрометью куда глаза глядят, вместе с буржуазией подлинной. Только теперь, по прошествии многих тяжелых месяцев изгнания, эмигрировавшая часть интеллигенции задумывается над парадоксальностью своего положения и все чаще начинает ощущать себя в положении зайца, покинувшего родной лес потому, что «вышел приказ подковать всех верблюдов».

Правда, и зайцу немногим легче, чем верблюду, пролезть через игольное ушко коммунистической доктрины. Но сейчас, наряду с неизменной доктриной, изменившаяся жизнь открывает широкие ворота для практической работы на пользу России, и зачавшийся уже пересмотр интеллигентских позиций по отношению к Октябрьской революции неизбежно будет все расширяться и углубляться и закончится естественным, из глубины сердца идущим и действительно объединяющим наконец эмиграцию лозунгом:

«На работу! Домой! На родину!..»

Долог и труден путь назад, и первый этап на нем едва ли не самый трудный: этап необходимого духовного перерождения. Надо перестать строить мысленно русскую будущность по западноевропейским образцам. Если теоретический, твердобуквенный коммунизм совсем неприменим к крестьянской России, то едва ли более применим к ней и теоретический парламентаризм. Давно, задолго до физического бегства, духовно эмигрировала интеллигенция. «Дома-то черно, страшно...» — писал еще Герцен, и мечтой перестроить черный русский дом по чертежам Великой Хартии Вольностей полна вся история русской

общественной мысли. Даже сама русская община, преломляясь в западнических настроениях, казалась ценной, как трамплин, упираясь в который Россия может перелететь через капитализм Маркса непосредственно... к коллективизму Фурье¹⁴ и Сен-Симона¹⁵. После 4 лет революции нельзя не видеть, что у России действительно «особенная статья». Даже политическим слепцам становится ясно, что «советизм» есть наиболее отвечающая русским условиям форма народовластия; несовершенства и уродливости советской системы сегодняшнего дня — только зигзаг на верном историческом пути России. Этот зигзаг выпрямится в широкую самобытную дорогу подлинного прогресса, когда вместе с народом пойдет на практическое дело интеллигенция.

Русская революция положила настолько резкую грань на всю историю человечества, что от нее, как от появления христианства или открытия Америки, будут отсчитывать летосчисление новой эры. После нее на арену всемирной истории впервые выступают народы. Впервые для мировой исторической роли выходит богатейший духовно, бесконечно мощный физически 100-миллионный русский народ, лишь теперь в революционной грозе рождающийся как нация¹⁶.

И пусть первые шаги его облиты потоками невинной крови, пусть путь его усыпан трупами гибнущих от болезней, холода и голода, появление его во всемирной истории — этап величайшего значения. Мы не знаем, что даст человечеству новая эра, но мы должны верить, что век русского освобождения будет веком всемирного ренессанса. Если в дореволюционной России, подмороженной снизу, загнивающей сверху, из солнечной толщи народной души вырывались, освещая века и народы, гениальные протуберанцы: Толстой¹⁷ и Достоевский¹⁸, Менделеев¹⁹ и Кропоткин²⁰, Виктор Васнецов²¹ и Врубель²², Мусоргский²³ и Скрябин²⁴, какие же всемирные озарения даст освобожденная русская душа?!

В глубоких подземных руслах текла река народной жизни. На поверхности шла борьба общества и власти, смена царей и идейных увлечений; под ней дремал древний, родимый хаос.

Нет нужды доказывать национальную типичность внешних форм революции — она очевидна каждому вдумчивому наблюдателю.

В ужасности этих форм одни хотят усматривать не проявление народного духа, а результат инородческих влияний, коими они объясняют и всю революцию; другие из разрушительности, дикости и безобразия отдельных фактов революции делают вывод о дикости и аморальности народного духа.

Мы не пойдем за ними. Мы знаем, что чем выше в небо уходят горы, тем глубже и обрывистее пропасти... Знаем, что глубина морального

падения, которую легко найти во множестве эпизодов революции, — только обратная сторона неудовлетворенности высочайших нравственных запросов, которых не пытался разрешить и даже не ставил себе никогда ни один другой народ Европы.

«Его убить надо... он в Бога не верит», — говорят каторжники у Достоевского. Тут вершины и пропасти русской природы:

— Убивать можно, а верить в Бога должно.

Но не только внешними формами, внутренними своими достижениями глубоко национальна также русская революция.

Она на смену отжившим сословиям выдвинула на поверхность русской жизни новые глубинные слои, первобытно дикие, но зато и первобытно мощные. Она пробудила в этих слоях волевые импульсы, веками дремавшие без выхода, так что казалось, их и вовсе нет в русском человеке.

А воля к власти — опорная точка государственности, которой не хватало в России, чтобы, как Архимедовым рычагом, силой народного гения перевернуть старый мир. В русском государственном теле растет позвоночник.

Слишком долго Россия жила развитием головного мозга в ущерб спинному. По неизбежной реакции сейчас равновесие нарушено в обратную сторону, но не всегда же воля русского народа к власти будет выражаться только бунтом, конвульсиями злобы или отчаяния; когда-нибудь она найдет себя в твердых кристаллических формах, а быть может — это выяснят ближайшие полгода, — уже и нашла.

Революция дала мощный толчок развитию в народе самостоятельности. Любой из проживших хотя бы часть этих лет в России знает по себе ту неистощимую изобретательность, предприимчивость и упорство, которые вырабатываются там в постоянной напряженной борьбе за существование. По мере облегчения материальных условий жизни эта упорная предприимчивость обратится в сильнейший рычаг хозяйственного восстановления России. В суровой советской школе население подготавливается к экзамену на экономическую зрелость. Коммунистическая система как бы была призвана выявить к жизни и оформить индивидуалистические, собственнические основы человеческой природы. Для будущего строительства России спекулянт-мешочник, едущий под риском пули за тысячи верст выменивать ситец на картошку и хлеб, одолевающий при этом десятки препятствий и, несмотря ни на какие декреты, четыре года снабжающий продовольствием крупные центры, право, не менее важная величина, чем фабрикант, мечтающий в Париже вернуться в Россию «полным хозяином».

В условиях страшного материального оскудения главным ресурсом восстановления русского хозяйственного организма явится способность населения к экономической самостоятельности и предприимчивости, а она налицо.

Налицо и чрезвычайный рост политической сознательности. Нельзя отрицать, что в бесчисленных сельских, волостных, уездных и прочих совпедах, совхозах, исполкомах, профсоюзах и т. д. население приучается самостоятельно мыслить и действовать зачастую в труднейших условиях. Достаточно указать на мало продуманный до сих пор факт существования в 1918–1919 годах Туркестанской советской республики. Абсолютно отрезанные от Москвы, окруженные со всех сторон войсками Колчака, Дутова²⁵, Деникина и английской оккупации, лишённые транспорта, топлива и хлеба, большевики в Туркестане сумели до конца, в течение полутора лет, сохранить власть в своих руках.

Это ли не пример самостоятельности?! Это ли не опровержение тех, которые думают, что для уничтожения большевизма достаточно с помощью каких-либо штыков занять Москву!

Что бы ни говорилось о полной безответственности советских работников, по мере смягчения напряженной атмосферы гражданской войны в них неизбежно должно развиваться чувство государственной ответственности. Это государственное воспитание масс, осознание ими дела государства как своего, близкого и кровного, идет двумя путями: а) вышеуказанным положительным путем практической работы в советских учреждениях, многомиллионные кадры которых состоят на большую половину из рабочих и крестьян, и б) отрицательным путем наглядного переживания массой населения результатов антигосударственной, анархической практики.

В этих тяжких переживаниях до конца исчерпывается революционность и бунтарство масс, которое при революции незавершенной, неразлившейся до своих естественных берегов, всегда было бы непреодолимым препятствием к нормальному государственному развитию России.

Освобожденный от мертвых пут монархии, подготовленный к хозяйственной и политической самостоятельности, народ, изжив до конца свою эмоциональную революционность, станет главным решающим фактором русской истории. В этом надежда грядущего.

Но, возразят мне, народная самостоятельность задавлена коммунистической властью: национальные цели и ресурсы принесены в жертву интернационалу.

Так ли это? И если это правда, то вся ли это правда? Или народная национальная толпа незаметно перерабатывает и интернациональную

власть, приспособляя ее к своим потребностям, заставляя служить национальным целям?

Как будто так.

Этот процесс особенно выпукло представляется во внешней политике советской власти. Самый язык и стиль чичеринских нот, столь непохожих на обычные дипломатические ноты, разве не являются они по грубости и прямолинейности своей типично русскими?

Я думаю, что неизысканные выражения, которыми обзывало «хищников английского капитализма» советское сообщение, расклеенное в Москве, после высадки в Архангельске «союзников», теперь сочувственно вспоминаются на Крите и в Египте многими «гостями английского короля».

И, однако, правительства Антанты выслушивают ноты Чичерина куда внимательней, чем-то было по отношению к корректнейшим, верноподданническим антантофильским «политическим делегациям» Колчака и Деникина.

Корень этого явления в широком влиянии московского правительства на рабочие массы Запада, благодаря чему правительства Европы должны прислушиваться к голосу Москвы. Проходит пора, когда Россия служила целям III Интернационала; III Интернационал начинает быть сильным орудием в достижении национальных целей России. Нигде это не выяснилось так отчетливо, как на Востоке. Коммунизм в магометанских странах — несбыточная мечта, навязчивая идея. Но русское влияние в Малой Азии, Персии, а отчасти и в Индии, русская радиостанция и русские военные инструкторы на «крыше света» в Афганистане — реальный факт, крупное историческое достижение России.

Самый интернационализм советской власти является национальным по духу, отвечает «вселенскости» русской природы, еще Достоевским отмеченной как типичнейшая черта истинно великого народа.

Гораздо медленнее и незаметнее идет приспособление советской власти к внутренним потребностям национальной жизни.

Под знаком этого приспособления проходит весь после-кронштадтский период. Начинаясь заменой разверстки натуральным налогом, оно красной нитью проходит через все декреты и действия советской власти, через все речи и статьи ее вдохновителя и главы. Но если не трудно было декретировать переход от капитализма к коммунизму, то бесконечно трудно, в атмосфере обнищания, голода и разрушения трудовой дисциплины и даже самой психологии труда, провести в жизнь программу интенсивного производства. Надо иметь в виду эту трудность и воздерживаться от преждевременных песси-

мистических диагнозов о результатах нового экономического курса в России. Несомненно только, что проведение этого курса требует наличности твердой, принудительной власти.

Создать заново такую власть вместо наличной, в условиях голода, эпидемии и паралича транспорта, — задача заведомо невыполнимая; уже конечно, эта задача не под силу интеллигенции, не справившейся с ней в гораздо более легких условиях 1917 года. Три главных грани русского духа последовательно правили на поверхности русской жизни в первый год революции:

Обломовщина — прекраснодушная барская лень и нерешительность, когда все откладывается до новой квартиры, «до Учредительного Собрания» — при кн. Львове.

Толстовство безвольное непротивленчество, которое «не может молчать», но не может и действовать, — при Керенском.

Пугачевщина — беспощадный русский бунт — при Ленине.

Нужна была нечеловеческая энергия и необычная для русских сила воли, чтобы суметь овладеть пугачевскими настроениями революционного народа, преодолеть обломовщину саботирующей революцию интеллигенции и, победив в грандиозной борьбе полумиллионные армии своих противников, стать фактической Всероссийской властью. Процесс кристаллизации государственности начался вокруг ядра советской власти не только потому, что ее лозунги коммунизма и интернационализма отвечали одному из основных запросов русской души — жажде социальной и международной справедливости, — но и, быть может, главным образом потому, что она одна оказалась способной действительно властвовать.

Правда, что интеллигенция возлюбила народ до того, что сотворила из него кумира, но сотворила этот кумир по образу и подобию своему: дряблым, хотя и прекраснодушным, бессильным и безвольным. И именно против интеллигенции, ставшей властью, восстал народ в октябре. В кажущемся безумстве этого восстания была доля высшей разумности, бывшая в безмерности терпения, которую обещали наши предки варягам, зовя их «княжить и володеть».

<...>

Варяги из Таврического дворца начали междоусобицы в первые же недели, и хотя тоже косились на Царьград, но «володеть» оказались уже окончательно неспособны. Органически неспособные к властвованию группы интеллигенции были отменены прочь от власти — в этом смысл октября.

В том, что не знавшего и не узнавшего народа своего интеллигента, что-то лепетавшего про железо и кровь, вынесло волной со-

бытий к чертям на кулички — на Rue de la Pomr в Париже, право, не меньше исторической справедливости, чем в екатеринбургской трагедии²⁶.

Народ инстинктивно не принимал монархии последних десятилетий за ее безвольность и расслабленность, ибо смутно чувствовал, что настают труднейшие критические годы его истории, когда потребуются твердой рукой направить к великим целям его могучие силы.

Когда вместо дряблой царской руки народ увидел над собой праздно болтающийся эсеровский красный язык, это было злой насмешкой и в тяжкие минуты, переживавшиеся Россией, грозной опасностью.

Эту опасность народ инстинктивно понял и отшвырнул от себя.

Тема о народе и интеллигенции выходит за пределы этой статьи; сейчас я касаюсь ее лишь, поскольку интеллигенция была, хотела, а в некоторых своих группах еще и сейчас хочет быть властью. Став властью в 1917 году, она не поняла народной воли. Народ хотел землю, ему предлагали волостное земство; армия, или, говоря точным, хотя и опошленным стилем тех дней, «крестьянство, одетое в шинель», хотело домой, его приглашали к избирательным урнам. И если бы на какие-то короткие миги уже не интеллигенции — ее как таковой нет, она физически и умственно раздавлена в гражданской войне, — а эмигрантской интеллигентщине удалось бы оказаться у власти (ибо *стать* властью она органически неспособна), она бы снова, вместо удовлетворения народных потребностей, предложила избирательный бюллетень.

Ей не было бы другого выхода, ибо немедленно начнется бесконечное и безнадежное расслоение на партии, дробление партий на группы, вся та ожесточенная борьба, которую каждый здесь в изгнании так тягостно ярко видит вокруг себя.

Перенести эту внежизненную борьбу в Россию, поставить ее в центре русской жизни было бы слишком большой опасностью.

Только демагогией можно властвовать в первый период революции — в этом одно из объяснений пришествия большевиков к власти. Только диктатурой можно сковать анархию и потенциальные возможности революции облечь в определенные формы государственности — в этом объяснение тому, что большевики у власти удержались. Конечно, и потому, что они явились диктатурой, опирающейся на революционную стихию, в ней самой черпающей силу для ее преодоления.

Два утверждения особенно часты среди идеологов антибольшевизма.

«Только разумная и твердая власть контрреволюции, преодолевая анархизм и бунтарство масс, воплощает в жизнь достижимые и национально ценные задачи революции», — утверждает на правом фланге.

«Советская власть давно обратилась в чистую контрреволюцию», — обличают слева.

Признать правильность обоих этих утверждений — не значит ли приоткрыть завесу над парадоксальным будущим советской власти? Не суждено ли ей контрреволюционными приемами провести в жизнь революционно-национальные задачи России?

Большевики показали себя достаточно твердыми для этого; окажутся ли они и достаточно разумны?

Советская власть сумела одолеть анархизм масс, теперь она должна преодолеть собственный фанатический утопизм. Судя по многим признакам, этот процесс уже начался. Параллельно с ним, облегчая и ускоряя его, должен идти процесс обволакивания эволюционирующего ядра власти работоспособным и честным деловым аппаратом.

Речь идет совсем не о ловком тактическом приеме, которым можно ввести в лоно Советской России троянского коня «белогвардейства», чтобы потом изнутри взорвать ее; пора вообще перестать взрывать Россию. Дело в использовании единственного пути, которым Россия может наиболее безболезненно проплыть между Сциллой и Харибдой коммунизма и анархии к широким мировым просторам. Это путь совместной практической работы мощного физически и духовно народа, твердой власти и честных идейных интеллигентов.

Народ с безмерным терпением склонился перед силой большевистской власти. Настал момент, когда эта власть должна склониться перед силой народных нужд и всемерно пойти прямо им навстречу; иначе она будет сметена.

Способность на безумное дерзание и готовность на безграничное разумное терпение — эти две черты великого народа за последние годы выявились в русском народе, быть может, более сгущенно и ярко, нежели за всю десятивековую историю его. В продолжение четырех лет народ терпит, но мера и сроки терпения могут истощиться, может произойти страшное столкновение слепого отчаяния масс и слепого фанатизма вождей.

Я не сомневаюсь в исходе такого столкновения, если бы оно произошло: победит народное отчаяние.

Но я сильно сомневаюсь в благодетельности такой победы — надорванный семилетней войной и революцией организм России может не выдержать. Это будет уже действительно «бунт бессмысленный

и беспощадный». Зигзаг истории может обратиться в тупик, в котором на долгие годы задержится историческое развитие России. В интересах всего ее будущего надо, чтобы этого не произошло; надо, чтобы народ и власть не столкнулись, а сталкивались.

«А народная самодеятельность?» — уже слышу я...

— А вера в народ?

Эта вера должна устоять против соблазна благословлять всякое народное действие, славословить народ в его данном состоянии. Вера в народ — это вера в заключенные в нем возможности; путь полного выявления их долгий и нелегкий путь. Надо избегать затруднять его катастрофами, постоянной ломкой всего быта. Самодеятельность масс и без катастроф будет находить себе все большее применение²⁷.

Принять исторический факт — не раболепство перед силой. Историк может всматриваться в прошлое, политик должен уметь четко видеть настоящее; государственный человек прозревает будущее.

Интеллигенция может и должна только отказаться от всякой предвзятости, воздержаться от столь родного большевизму «максимализма претензий». <...>

Максимализму претензий, сыгравшему тогда столь печальную роль, решительно нет места в трагический момент, переживаемый Россией.

* * *

«Первым делом понижается общий уровень образования, просвещения и наук... жажда образования есть уже жажда аристократическая... не надо высших способностей...» — сколько раз за последние годы цитировались эти строки в обличение «шигалевщины» русской революции.

И вдруг на исходе четырех лет ее Н. С. Трубецкой²⁸ пишет в Софии книгу о том, что «никаких объективных доказательств преимущества европейской культуры над готтентотской нет и быть не может»; а западник идеалист П. И. Новгородцев²⁹ читает в Берлине лекцию о неизбежности «понижения государства и права» как грядущей ступени всемирной истории.

Круг завершился, пройден обратный путь от великолепных чертежей «Magna charta libertatum»³⁰ до родного дома, где черно и страшно.

Домой! В Россию! С сознанием, что перестроить ее посветлей и попросторней можно, только считаясь с главным строительным материалом — народом.

Эту тоску о России знали Чаадаев³¹ и Герцен, Достоевский и Гоголь... с потрясающей глубиной ее должно пережить все наше поколение в целом. Трудно любить Россию, красную от пожаров и крови; но иного пути нет для русского.

Только теперь познаем мы правду предсмертного «брёда» Гоголя:

«Если только возлюбит русский Россию, — возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри нее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви... Монастырь наш — Россия! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней.

Она теперь зовет сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде...»

По роковой иронии судьбы, а быть может, по беспристрастному и безошибочному суду истории, русское национальное дело можно сейчас делать не в рухнувшей России «Третьего Рима», а в России III Интернационала.

Что можно возразить тем, для которых она только «царство зверя»? Им шестьдесят лет назад ответил Гоголь:

«Друг мой! Или у Вас бесчувственно сердце, или Вы не знаете, что такое для русского Россия»³².

